

---

## СТАТЬИ

---

А.Ф. Журавлев

### ИНТУИЦИЯ ЭТИМОЛОГА

В работах Олега Николаевича Трубачева часто встречается слово *поучительный*: “поучительная статья”, “поучительное сравнение”, “поучительная этимология”…

Многие его собственные работы, без сомнения, должны быть причислены к этой категории: их чтение оказывается весьма поучительным как в том, что касается сущности этимологических разысканий вообще, так и, в частности, относительно приемов, с помощью которых эти поиски осуществляются.

Но Трубачеву-этимологу было присуще качество, которому трудно, если вообще возможно, научиться.

Мы говорим о поразительной интуиции, которая позволяла его мысли с видимо меньшими, чем у других исследователей, усилиями преодолевать этимологические трудности, уметь сквозь толщу формальных преобразований, которые претерпело слово, позднейших затемняющих семантических наслоений и девиаций прямо устремляться к конечной цели поиска – к этимону, первичной мотивации того или иного словесного обозначения. Этот талант должен воспитывать в себе любой этимолог, но у О.Н. Трубачева он был выражен необыкновенно остро. Дар этот тем более заметен, что О.Н. Трубачев обладал несомненным эстетическим чувством, очевидным писательским мастерством, и многие его красивые в своей верности этимологические находки облечены в соответствующие отточенные текстуальные формы; сейчас сказали бы – эффектные. Даже если не все этимологические решения Трубачева оказались удачными и были приняты в дальнейшем движении науки (разумеется, это так), среди них нет этимологий “вымученных”.

Научный аппарат современной этимологии весьма объемен и изощрен. Этимологические разыскания в области языков со ста-

рой традицией исследования, таких как индоевропейские, давно уже не могут удовлетвориться простыми корневыми сличениями и выявлением наглядных непосредственных словообразовательных связей, что характерно для начальных этапов сравнительно-исторического языкоznания и что мы нередко наблюдаем в области этимологии языков экзотических, малоизученных, ставших объектом подобного изучения относительно недавно.

Спектр “измерений” слова, которые должны приниматься во внимание при установлении его этимологии, необходимо широк. Этимолог должен учитывать фонетику и морфонологию, словообразовательные отношения, полноту или ущербность морфологической парадигмы слова, место и связи слова в лексико-семантической парадигме, сочетаемостные свойства слова, фразеологию, сохраняющую отсветы старых, утраченных смыслов, возможность всякого рода аттракций, контаминаций и аналогического выравнивания, стилистическую отнесенность слова, его народную или книжную природу, его коннотативные характеристики, географию слова и проч. Он должен стремиться не только к нахождению корневых соответствий, но и к распознанию имеющих особую доказательную силу цельнолексемных корреспонденций в родственных языковых группах, к выявлению межъязыковых сочетаемостных и фразеологических перекличек. Хотя семантическая типология до сих пор не может считаться далеко продвинутой лингвистической дисциплиной, современная этимология должна опираться на изученные закономерности смысловых изменений и обосновывать свои заключения соображениями о вероятности данных адидаций и семантическими параллелями (вновь как внутри-, так и межъязыковыми). Наконец, от этимолога нередко требуется культурная верификация предложенного историко-лингвистического решения, углубление в подробную – насколько это предписывает конкретный случай – “биографию” непосредственных, по возможности внятно очерченных элементов материальной и духовной культуры этноса, с языком которого имеет дело исследователь.

Когда читаешь статьи и книги О.Н. Трубачева, отчетливо понимаешь, что успешная этимологическая практика предполагает “многоканальность” мышления, и осознаешь, что он с чрезвычайной хозяйственностью распорядился своими исключительными природными данными и привил себе умение во время поисковой работы “включать” эти каналы одновременно. Это и обеспечивало высокое качество трубачевской научной продукции, большое число принадлежащих ему удачных этимологий.

Логика этимологического поиска отлична от логики статьи на этимологическую тему.

Этимологическая находка – это результат прозрения, интеллектуальной вспышки (конечно же, подготовленной некоторым предварительным знанием). Такая вспышка способна выявить не только корневую сопряженность данных двух лексических единиц или идею-мотив, лежащую в основе номинации, но и целую сеть связей и зависимостей в группе слов и значений, об историческом единстве которых до этого мгновения никто не подозревал. Статья же (научный жанр, понятно, определен условно) – это вербализация результатов скрытой интуитивной работы, часто переворачивающая истинную логику или, если угодно, алогичность этимологического поиска – так сказать, с головы на ноги. Больше того, догадка о происхождении или первоначальной мотивации какого-либо слова часто посещает этимолога, когда он занят разысканиями и размышлениями, касающимися совсем другой лексической материи. К сожалению, обязательностью вербально выраженной научной аргументации в пишущейся статье эффект внезапности интуитивного прозрения почти всегда убивается.

Работа сознания этимолога, как, наверное, и любого ученого, далеко не всегда может быть предъявлена в полностью адекватном ей текстуальном оформлении. Словесный материал, подвергаемый этимологическому анализу и нуждающийся в одновременной оценке по самым разным измерениям, о которых сказано выше, часто бывает настолько сложен, что многое в деятельности интеллекта, что было актуализовано в момент этимологического озарения, остается под спудом, за рамками конечных текстуальных форм, в которые отливаются результаты исследования, и даже, в конце концов, вообще за пределами светлого поля сознания.

Чтение этимологической статьи неопытному читателю может впечатлить о том, что автор пришел к своему открытию путем методично обдуманного, спланированного построения, последовательного сличения всех данных и отсеивания всевозможных помех и непригодных вариантов. Иногда это так, но как раз опытный читатель сочинений по этимологии и исторической лексикологии сразу видит преобладание анализа и отбора в самом поиске; работы этого рода и можно назвать “вымученными” (или “высиженными”). Однако запланировать этимологическое открытие нельзя: чаще этимология конкретного слова не проектируется, а “прозревается” во внезапном синтезе. И уже

только потом, оформляя находку текстуально, этимолог дописывает (“прописывает”) необходимые, если он сочтет их необходимыми, логические звенья.

Но сочетет ли?

Особая роль интуиции в работе этимолога может обнаруживаться в дискурсных “аппаратных” недоработках (всегда ли это недостатки?) этимологической публикации, прежде всего – в явленной неполноте возможных аргументов. Неисчерпанность доказательств в тексте этимологического исследования может вызываться различными причинами. Например, тем, что данная этимология упоминается бегло в научной работе, жанр которой не предполагает очень развернутой аргументации (например, статья этимологического словаря, где косвенно толкающая к данному решению информация присутствует лишь в свернутом виде, скажем, в отсылках к другим словарным статьям или в форме наводящих библиографических указаний). Либо же тем, что этимолог в стремлении усилить эффект лаконичностью текста (поскольку многословие нередко бывает губительным), может быть, даже сознательно опускал те или иные допустимые доводы, рассчитывая на конгениальность читателя, на достаточную осведомленность коллег, имеющих дело с тем же языковым материалом. Для нас интереснее другие случаи: аргументация неполна либо потому, что исследователь не успел или не догадался навести полезные справки по имеющимся источникам, вовремя не вспомнил о них, либо потому, что он вообще не мог знать данных фактов, приведение которых удостоверило бы безошибочность его догадки. Однако тонкое языковое чутье может внушить исследователю уверенность в том, что в поиске этимона он находится на правильном пути, и позволить ему высказать этимологическую идею, не прибегая к исчерпывающему предъявлению возможных доводов в ее подтверждение.

Далее мы коснемся некоторых этимологий О.Н. Трубачева, пытаясь дополнить их возможными доказательными данными и параллелями, главным образом семантико-типологического и культурно-исторического плана, которыми он по той или иной причине не воспользовался, – в большинстве случаев, по-видимому, потому, что ими еще не располагал<sup>1</sup>.

1. В качестве первого примера выберем этимологизацию О.Н. Трубачевым самого распространенного у восточных и западных славян народного названия нечистой силы – чёрт.

Свое этимологическое объяснение ареальное праслав. \*čyrtъ ‘нечистый дух’ находит в словообразовательном параллелизме лексем *черторой* ‘овраг’ (Даль<sup>2</sup> IV, 598; ср. праслав. \*čyrtoryja, отразившееся в восточнославянской и западнославянской топонимии) и др.-русского *кроторыя* ‘крот’ (СлРЯ XI–XVII вв. 8, 75), ср. далее диал. (томск.) *кроторойка* ‘общее название мелких грызунов, роющих норы в земле’ (СРНГ 15, 285): они удостоверяют этимологическое единство слов *черт* и *крот*<sup>2</sup> (текстуальное соединение слов со значениями ‘черт’ и ‘рыть’, ‘роет’ свидетельствуется и балтийскими языками, ср. лит. *Velniai ráutq!*, эквивалентное нашему *Черт возьми!*: *vélnias* – ‘черт, бес’, *ráuti* – ‘рыть; вырывать, корчевать’, – что говорит о значительной древности этого представления). На генетическое родство слов \*čyrtъ ‘черт’ и \*krъtъ ‘крот’ указывает, кроме того, и литов. *kertùkas, kirtùkas* ‘землеройка’ (Fraenkel 223), которое весьма близко по структуре славянскому \*čyrtъсь (уменьшительное от \*čyrtъ, ср. укр. *чертéць* ‘грызун *Myoxus nitela*’ (Гринченко IV, 459).

Название грызуна ‘*Myoxus nitela*’ имеет в западноукраинских диалектах пару с тем же корнем, но с иным суффиксом – *-ežъ*: *чéртіж* (Гринченко IV, 459; праславянскую реконструкцию см. в: ЭССЯ 4, 162). Нам кажется нужным сослаться в данном контексте на белорусский топоним *Чэрцеж*, село в Жлобинском районе<sup>3</sup>, который, во-первых, утверждает исконность этого образования в белорусском (в отличие от напрасно приводимого в ЭССЯ белорус. *чарцёж* ‘чертёж’ – очевидного позднего русизма), а во-вторых, подкрепляет уловленную связь значений ‘черт’, ‘мышебразный грызун – землеройка, крот и под.’ и ‘рыть, копать’ (по объяснению В.А. Жучковича, топонимы с просматривающейся идеей “черчения” в их основе отражают примитивные формы земледелия, в частности, приемы раскорчевки заросших пространств; доономастическое значение собственного белорусского слова – вероятно, что-нибудь вроде ‘росчисть, роздерть’). Правомерность привлечения этого материала видна из того, что в статье \*čyrtēžъ в ЭССЯ в числе соответствий, главным образом, в значениях ‘отметка, грань’, ‘расчищенный для посева земельный участок’ и проч., даются словенские формы *čátež* ‘дух, обитающий в горах’, *čátež* ‘мифическое существо – наполовину человек, наполовину козел’ – правдоподобные ответвления от значения ‘черт’, в культурно-историческом отношении тем более ценные, что демонологическая семантика в продолжениях праслав. \*čyrtъ в южнославянских языках представлена чрезвычайно слабо.

Приведя балтийскую фразеологию, соединяющую слова со значениями ‘черт’ и ‘рыть’, О.Н. Трубачев не иллюстрировал эту связь подобными же славянскими сочетаниями. Скорее всего, ему их просто не удалось найти. Между тем, славянские примеры имеются (нам они известны по более поздним публикациям). В книге Е.Л. Березович “Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте” приводятся показательные для этой этимологии многочисленные контексты, в которых мотивируются северно-русские микротопонимы, образованные от слова *чёрт* или имеющие в своем составе прилагательное *чёртов*: “*чертами там рыли*” (так объясняют топоним *Чёртов ручей*), “*тут все согры были, один согру прорыл на лодке проехать, а целое озеро промыло, глубокое – черт прорыл*” (истолкование названия озера *Чёртик*, вариант *Черторой!*), “*там все изрыто, черти рыли*” (о покосе *Чертовики*), “*Черт прошел, дорогу прорыл*”, “*черт... нарыли все*” (о ручье *Чертовик*) и т.д.<sup>4</sup>

Любопытно, что сходную мотивировку получает и редкий микротопоним *Дьяловово* (название покоса): “*место все изрыто, в ямах*<sup>5</sup>”. Имея в виду книжную природу слова *дьявол*, можно предположить, что “*землеобработочные*” коннотации у микротопонима – след состоявшейся синонимизации мотивирующей его лексемы и слова *чёрт*, точнее, след неизбежного ассоциативного “*заражения*”.

Славянские и литовское названия крота и черта как мифологического персонажа хтонической природы могут быть возведены к и.-е. *\*kr̥to-* с реконструируемым значением ‘копатель’ — от и.-е. *\*(s)ker-* ‘долбить, резать’<sup>6</sup>. Таким образом, соединение существительного ‘крот’ (и ‘черт’!) и глагола ‘рыть, копать’ в предикативные конструкции (ср., например, синтагму *kde krtek reje* в чешском заговоре<sup>7</sup>) или их корней в сложное слово (*кроверыя, краторина, краторынина* и проч.), без сомнения, отражающее праславянские сочетания, в древности было в сущности плеонастическим.

Черт в славянской мифологии сравнительно поздно, под влиянием христианства, приобрел свойства дьявола, врага человеческого рода, а первоначально был, как определено О.Н. Трубачевым, “так себе земной дух, роющийся в земле вроде крота”<sup>8</sup>. Ответом представлений о черте, не отягощенных поздними преобразованиями, можно объяснить сильный комический элемент в его фольклорном образе и довольно панибратское отношение к нему, например, пушкинского Балды или героя гоголевской “Ночи перед Рождеством”.

Можно лишь удивляться проницательности О.Н. Трубачева, который дал изложенное объяснение, еще не имея возможности подтвердить его хорошей смысловой параллелью – одним русским диалектным названием крота с прозрачной этимологией, отчасти повторившим (в “смягченном” локальном варианте) семантическую и фразеологическую судьбу слова *\*сытъ*. Мы имеем в виду слово *рытик* (СРНГ 35, 319), которое в тверских, ярославских, владимирских, симбирских говорах означает ‘крот’, а в брянском трубчевском говоре представляет собою пейоратив ‘нехороший, злой человек’ и употребляется в сравнительном обороте *злой как рытик*,ср. параллельное *злой как черт* (если, конечно, трубчев. *рытик* не является народноэтимологическим преобразованием слова *еретик*, некоторую вероятность чего, несмотря на акцентологические различия этих слов, все же нужно допустить<sup>9</sup>).

2. О.Н. Трубачев отверг этимологию слав. *\*пётъ(jь)* ‘немой’, которая настаивает на идеофонической природе слова и аналитном *m-* (ср. лтш. *tēmts* ‘немой’), диссимилятивно преобразовавшемся в *n-*. Усматривая в корневом *ē* следы его дифтонгического происхождения, он предложил вернуться к скорректированной идеи И.Ю. Микколы и найти в этом слове соединение негативирующего *ne-* с корнем глагола *\*jytq*, *(\*j)eti*; корневой дифтонг, таким образом, имеет здесь вторичный характер (см. ЭССЯ 25, 101–102; ранее – ЭССЯ 13, 86).

В качестве смысловой параллели, способной доказать такое решение, О.Н. Трубачев мобилизовал сев.-рус. *куйм*, *куйма* ‘глухонемой человек’, ‘косноязычный человек’, ‘заика’, ‘молчаливый человек’, *куймый* ‘немой’, ‘косноязычный’, ‘бестолковый’ (в праславянской реконструкции *\*ki-jytъ*) – с тем же глагольным корнем (далее – суффиксальные продолжения *куймныи*, *куймка* ‘глухонемая женщина’, *куймко* ‘глухонемой мужчина’ – СРНГ 16, 29). Некоторые сомнения привлеченное слово может рождать из-за трудноопределимой семантики префикса *\*ki-* (как и его вариантов *\*ka-*, *\*ko-*). Слова, имеющие его в своем составе, обычно относятся к экспрессивной лексике, но нелегко указать пример, где он нес бы значение собственно отрицания. В лучшем случае формулируется некий семантический момент ‘ущербности’, ср. орл. *ку-нóгий* ‘хромой’ (которое вызвало появление в ЭССЯ статьи *\*kunogъ(jъ)*), если это не результат синкопы, ср. *куценогий*, укр. *кутерногий*.

При этих обстоятельствах для этимологии слова *\*пётъ(jь)*, которую реабилитировал О.Н. Трубачев, все же желательна под-

тврждающая параллель более прозрачного строения. Ее можно было обнаружить в рус. диал. (курган.) *нéималь* ‘человек, который всего боится, ни с кем не общается’ (СРНГ 21, 55), примечательном для данного случая тем, что образовано на базе того же глагола *\*jъtq*, *\*(j)etí* (ср., с реализацией иных потенций актантной схемы исходного глагола, *нéйм*, *нейм(a)* и *нéималь*, *нéималь* ‘домашнее животное, которое не дает хозяину себя поймать’ – СРНГ 21, 54–55). Мотивирующий смысл всех трех слов – *немой*, *куимый*, *неималь* – может быть трактован как ‘не обладающий, не владеющий (даром внятной речи)’ (ср. рус. диал. *владáть*, *володáть* ‘иметь силу, способность действовать (об органах, членах тела)’, *невладáние* ‘неспособность владеть членами тела’ и под.), либо, менее вероятно, ‘не воспринимающий’ (ср. сев.-рус. *имáть* ‘воспринимать слухом, слушать’: “А ты имай, что я говорю” – СРНГ 12, 189; в этом случае первоначальное значение *немой* – скорее ‘глухонемой’?).

### 3. Обратимся к следующему примеру – славянскому названию ‘омелы, *Viscum*’.

Из нескольких имеющихся этимологий этого слова, которые здесь, наверное, можно не перечислять, О.Н. Трубачев принял ту, согласно которой праслав. *\*emela* / *\*emelo* / *\*emelъ* ‘омела’ (оно продолжается, кроме прочего, в болг. *ýмел*, словен. *imela*, чеш. диал. *jemela*, в.-луж. *jem(je)lina* и т. д.) образовано с помощью суффикса *-el-* от основы *\*em-* (глагол *\*jъtq*, *\*(j)etí* ‘брать’ – рус. диал. *ять* ‘брать’, *имать* ‘ловить, хватать’, далее *по(н)-ять* / *понимать, при(н)-ять* / *при(н)-имать, вз-ять* / *вз-имать*).

Это название омела, возможно, получила потому, что из ее ягод или коры добывался клей, применявшийся в птичьей охоте (ср. др.-рус. *омела* ‘ловушка для птиц’). В качестве мотивационных параллелей могут быть привлечены иные славянские факты: с.-хорв. *lépak* ‘клей; липкая бумага для мух; омела’, чеш. *lepik* ‘калина’ (из коры корней которой делали птичий клей), редкое славянское название одной из разновидностей рябины *\*berka* (словен. *bréka*, рус. диал. *берёка* и др.) – от глагола *\*berq*, *\*bъrati* ‘брать’, и латинское научное название рябины *Sorbus alicuparia*, буквально ‘рябина ловецкая (птицеловная)’ (*aicuspare* ‘заниматься ловлей, птицеловством’)<sup>10</sup>.

О.Н. Трубачев (ЭССЯ 6, 26) предложил, однако, другое первоначальное осмысление основы *\*em-*, имея в виду паразитарную сущность растения.

Есть дополнительные факты, которые говорят в подтверждение этимологического выбора, сделанного О.Н. Трубачевым, хотя бы и с некоторой переменой семантических акцентов. Продолжая возможные интерпретации корневой базы в духе трубачевских и принимая во внимание сексуальную символику омелы (в литературе об индоевропейских ритуалах срезание омелы с дуба трактовалось как символический обряд лишения мужской силы старого царя, совершающий его преемником; широко известный рождественский обычай целоваться под омелой, – по-видимому, пережиток фаллических ритуалов<sup>11</sup>; по болгарским обычаям, если двое молодых людей окажутся под деревом с омелой, то им позволяет всякая вольность<sup>12</sup>; у айнов женщины ели омелу, чтобы забеременеть<sup>13</sup>), можно предположить, что ее название развивает именно эти моменты в значении глагола *\*j̥ytati*, ср. рус. *пояти* с его брачной семантикой и, например, словац. диал. *jímat'* ‘спариваться (о домашней птице)’ или вульгарное нынешнее рус. *иметь* (*он ее имел*) (ср. в том же значении *овладеть*, редкое и сейчас стилистически вычурное, если не коробящее, *взять*).

4. На основе церковнославянской формы *громы* θύμата, *immolationes* (Срезневский I, 597)<sup>14</sup> О.Н. Трубачев восстановил особое праслав. *\*grotъ* ‘жертва’, объяснив это имя как реликторное страдательное нетематическое причастие настоящего времени (подобное *\*vedomъ*), производное от глагола с корнем *\*gr-* (и.-е. *\*gʷer-* ‘пожирать, поглощать’) и соотносительное со словом *\*žbrtva*, но с другой степенью вокализма в корне<sup>15</sup>.

Это притягательное решение позволяет сделать следующий шаг – истолковать одно (кажущееся поначалу абсолютно прозрачным, а на самом деле очень далекое от ясности) западнославянское слово, но тем самым увидеть в нем дополнительный аргумент в пользу упомянутой реконструкции.

Мы говорим о польск. *gromnica*, чеш. *hromnice*, *hromice*, из польского – укр. *грімніця*, *громніця*, блр. *грамніца*, *громніца*, *грумніцы* ‘Сретенье, 2/15 февраля’ и ‘свеча, освящаемая в церкви 2 февраля; используется как апотропей от молний’<sup>16</sup>. Обычай освящения свечи в этот день – обряд римско-католической церкви, занесенный в Белоруссию униатами. Неясность названия праздника и праздничной свечи в том, что грозы в феврале – явление чрезвычайной редкости, а предусмотрительность по части будущих метеорологических напастей, запечатленная к тому же в слове, не выглядит убедительной, как и вся практическая филосо-

фия вроде паремий насчет необходимости готовить телегу зимой. Ритуальное и магическое применение громничных свечей, как календарное, так и окказиональное, очень многообразно и вовсе не ограничивается сферой метеорологии: эти свечи берут в поле во время первого выгона скота на весеннею Юрия / Егория – вместе с печеньем в виде креста, куриным яйцом, камнями, замком, безменом, ножом, топором и проч.; во время жатвы – вместе со свяченым на Пасху хлебом, просфорой; ими отгоняют ведьм от коров; их дают в руки умирающим; ими подпаливают волосы с четырех сторон, чтобы не болела голова и т.д. Зажигание громничных свечей во время грозы, чтобы уберечься от молнии, – частный случай предупредительной магии с их использованием, который более чем правдоподобно объясняет поствербальным генезом магического приема: его возникновение могло быть обусловлено уже существующим названием, перетолкованным в духе народной этимологии.

Выявленное О.Н. Трубачевым особое праслав. *\*grotъ ‘жертва’*, возможно, ставит все на свои места: *gromnica / громница*, *громничный* – просто ‘жертвоприношение’ (и, далее, название праздника), ‘жертвенный’ или, точнее, ‘связанный с днем жертвоприношений’. По-видимому, затронутый здесь этнографический материал не был ему известен, иначе трудно понять, почему, предложив остроумную этимологическую находку, пусть не прорисованную до желаемых деталей (сам славянский глагол с корневой формой *\*gr-* не найден и, может быть, вообще не сохранился, будучи оттеснен более “конкурентоспособными” формами на *\*žyr-*), и упомянув в связи с ней – в статье “Заметки...” с уверенностью (“очевидное производное”), в ЭССЯ, десять лет спустя, с сомнениями (“возм., сюда же”) – цслав. *громъница* ‘гостиница?’, он не обмолвился о напрашивающихся в данном случае западнославянских и украинско-белорусских названиях праздника и праздничной свечи.

5. Еще один пример этимологического соображения, которое выглядит доказанным, но может быть дополнительно верифицировано не упоминавшимися у О.Н. Трубачева фразеологическими данными. Речь идет о глаголе *\*kresati*.

Мысль об этимологической сопряженности слов *воскресать* (*воскресение*) и *кресать* ‘добывать (огонь)’ не нова. На ней настаивал, например, еще А.Н. Афанасьев в своем труде “Поэтические воззрения славян на природу”. А вот позднейшие этимологи

(А.Г. Преображенский, М. Фасмер, П.Я. Черных и др.) в таком сближении сильно сомневались, вообще находя эти слова очень трудными (см.: Преображенский I, 381–382; Фасмер II, 373; Черных I, 168–169).

О.Н. Трубачев возвратился к плодотворной мысли об их связи: “...семантика ‘ударять, сечь, высекать’ у глагола *\*kresati* не первична, а вторична, производна от устойчивого словосочетания *\*kresati oгнь*, первоначально значившего ‘создавать огонь’ (что вполне отвечало древним воззрениям на живую природу огня; стирание древней семантики выразилось в переносе семантического акцента на технику добывания огня – ‘добывать огонь ударам’, чему лишь способствовало созвучие форм, а впоследствии – в ряде языков и диалектов – и значений глаголов *\*tesati...* и *\*cesati...*). Древнее значение глагола *\*kresati* отразилось и в значениях раннего производного имени *\*krasa*, в котором этимологически исходной опять-таки оказывается не техническая семантика жара, огня и под., а семантика жизни, цвета жизни. На этом основании предлагается сближение *\*kresati* с лат. *creō, creāre* ‘создавать, творить, вызывать к жизни’, *crēscō* ‘расти, увеличиваться’...” (ЭССЯ 12, 125). Тот же вектор семантического развития ‘разжигать (огонь)’ ← ‘создавать, сотворять, производить’ нужно отметить для литовского глагола *kurti* и объяснить его с апелляцией к устойчивому сочетанию *ìgnjì kùrti* дословно ‘создавать огонь’, аналогично нем. *Feuer an machen*. Значение ‘возрождение, возобновление, оживание солнца’ передается словами русско-цслав. *крѣсть* ‘солнцеворот, солнцестояние’, с.-хорв. *kr̄ijes* ‘жаркие летние дни; ритуальный огонь, возжигаемый накануне Ивана Купалы’, *крѣсови* (множ. число) ‘летнее солнцестояние’, словен. *krѣs* ‘солнцеворот; купальский огонь’. В этом контексте внутренняя форма слова *воскресение* неоспоримо восстанавливается как ‘воссоздание, возобновление, сотворение вновь’.

Впечатляющее сильное подтверждение идея О.Н. Трубачева обнаруживает в этнографических фактах, которые, вообще говоря, достаточно хорошо известны историкам народной культуры, но которых сам Олег Николаевич в качестве аргументов не использовал (возможно, не будучи знакомым с этой областью профессионально). О связи понятий ‘огонь’ и ‘жизнь, жить, живой’ (но, разумеется, опосредованной, как и показано О.Н. Трубачевым) наглядным образом говорят ритуальные термины (о которых толкуется в нескольких работах автора настоящих заметок) рус. *живой огонь*, зап.-укр. *живий огонь, жива ватра*<sup>17</sup>, с.-хорв. *жива*

ватра, болг. жив огън и др.<sup>18</sup> (с южнославянскими наименованиями связано, возможно, отношениями калькирования, румын. *focul viu* – буквально ‘живой огонь’<sup>19</sup>), а также арханг. *разжигать огонь* ‘разжигать огонь’, ‘поддерживать слегка, расшевеливая или подкладывая топлива’ (Даль<sup>2</sup> IV, 30), далее – уже за пределами славянского фразеологикона, лат. *vivus ignis* ‘живой огонь, жар, горящие уголья’ (морфемно, этимологически совпадающее с русским выражением и с несомненностю говорящее об индоевропейской древности самого этого сочетания слов: и.-е. \*gʷʰiₙ- ‘живой’ + \*ugnis ‘огонь’).

Очень весомым доводом в пользу затронутых семантических связей нужно счесть параллелизм русских названий ритуального пламени: *живой огонь* и – *новый огонь* (то есть, если угодно, – ‘только что созданный’).

Интуиция О.Н. Трубачева и в этом случае сработала безупречно.

Не хочется оставлять эту тему, не упомянув о реминисценциях образа “живого огня” в современной поэзии. У Заболоцкого в стихотворении “Незрелость” есть выразительная строчка “Огня субстанция *живы*...”

6. Иной раз отсутствие в этимологических конструкциях О.Н. Трубачева тех или иных данных, которые могли бы оказаться яркой семантической параллелью как сильным аргументом в череде доказательств, воспринимается досадным упущением. Но именно такие находимые уже потом параллели и свидетельствуют о его обостренном этимологическом чутье.

В этой связи можно коснуться праславянского *\*drugъ(jь)*, отражающегося в поздних славянских языках прежде всего в существительном со значением ‘приятель’ и прилагательном со значением ‘второй’.

Восстановление индоевропейской праформы этого слова в общем не затруднительно: *\*dhrougħo-* от глагольной основы *\*dhreugh-*, но в силу незначительного числа внеславянских соответствий (только в балтийских и германских языках), к тому же несомненно претерпевших серьезные семантические изменения, не так легко реконструировать значение исходного, как предположил О.Н. Трубачев, глагола на основе такого набора поздних смыслов в производных, как ‘второй’ – ‘чета, пара’ – ‘прошлый’ – ‘добрый знакомый, приятель; доброжелатель’ – ‘отряд, войско; идти походом’... Балтийские и славянские языки этого глагола не

сохранили, готское *driugan* представляет лишь “военное” значение ‘собираться походом’ (именно его некоторые лингвисты склонны – очевидно ошибочно – считать первичным<sup>20</sup>). Не прибегнув ни к каким внешним доводам и представив семантическую часть словарной статьи в ЭССЯ (5, 132), к сожалению, слишком *stretto*, а если говорить прямолинейно – явно скомкав ее, О.Н. Трубачев высказал предположение, что основой всего гнезда мог быть глагол со значением ‘следовать’ – единственным значением, которое в качестве исходного могло бы примирить все прочие.

Между тем такие внешние аргументы есть. Одно из значений славянского *\*drugъ(jь)* – ‘второй’. В латинском это значение передается прилагательным *secundus* (ср.: Ernout – Meillet 1074; Walde<sup>2</sup> 701; Pokorný I, 896–897), которое является старой причастной формой от *sequor* ‘следую (за кем / чем, кому / чему)’. Из смысла ‘следующий’ объяснимым образом возникло значение ‘второй’ (ср. *вторить* : *сопровождать*).

Кроме того, стоит обратить внимание на мощность положительных коннотативных потенций, заложенных в праславянском слове и сказавшихся в значениях производных – ‘товарищ, близкий, добрый знакомый’, ‘супруг, домочадец; чета, семья’, ‘милый, любезный; возлюбленный’, ‘спутник, сторонник, приверженец’, ‘единение; соединяться на основе общих интересов и позиций’, ‘взаимная расположленность’, ‘помогать, пособлять’, ‘общительный’, ‘мирный’ и даже (в ст.-польск. *drustwo*) ‘подвиг, доблесть’…

Сильный положительный момент присутствует и в семантике лат. *secundus*: не только ‘следующий, второй, другой’, но и ‘благоприятный, предвещающий счастье’ (*omen secunde* у Горация), ‘доброжелательный’ (*verba secundi* у Овидия), ‘одобрительный’, ‘счастливый, успешный, удачный’, ср. фразеологию: *secundis dis* ‘с помощью богов’ (у Вергилия), *adi pede secundo* ‘явись в добрый час’ (у того же Вергилия), *res secundae* ‘преуспеяние, счастье’ (у Цицерона, Цезаря и др.). Носителю русского или любого иного славянского языка совмещение в семантическом спектре одного слова столь далеких значений на первый, не слишком внимательный, взгляд может показаться необычным и даже вычурным. Оно, однако, без особых затруднений объясняется производностью *secundus* от глагола *sequor* ‘следовать’, причастная семантика которого становится отправным моментом в развитии значения ‘сопровождающий, попутный’, откуда уже легко выводится дальнейшее значение ‘благоприятный’.

Упомянутая латинская смысловая эволюция находит, кстати, аналогии и в русском языке, не только прямую (ср. замечательное “*Ветерок дружит нам, попутный*” – Даль<sup>2</sup> I, 496), но и, так сказать, зеркальную, с противоположным вектором: слова *встречный, встречник* и проч. характеризуются негативной семантикой (‘нечистая сила’, ‘враг, противник’, ‘болезнь’ и т.д.), значение ‘располагающийся напротив’ или ‘движущийся навстречу’ у прилагательных *противный* и *супротивный* преобразуется в ‘неприятный, отвратительный; дискомфортный’ и ‘враждебный’ соответственно.

Что же касается специально значения ‘друг, приятель, товарищ’ у слав. *\*drugъ* (из ‘сопровождающий, попутчик’), то и эта семантика представлена в гнезде лат. *sequor*; а именно – у слова *socius* (субстантивные значения – ‘товарищ, спутник’, ‘сообщник, соучастник’, ‘союзник’, ‘компаньон’, адъективные – ‘общий, совместный’, ‘союзный, союзнический’). Сходство семантической организации слав. *\*drug-* и лат. *sequi-* заслуживает удивления.

Мы предполагаем, что О.Н. Трубачев, который неоднократно и плодотворно обращался к данным латинского языка в разыскании не только специальных славяно-италийских связей для доказательства среднедунайской прародины славян, но и смысловых аналогов для подтверждения того или иного этимологического решения, остро ощущал возможность и естественность такого семантического развития, но в данном случае почему-то к этим аналогиям не прибег. Будь эта параллель осознана О.Н. Трубачевым вовремя, он вряд ли отказался бы от ее приведения, испытывая, как нетрудно заметить, особое пристрастие к аргументации из области семантической типологии. Но тем нагляднее оказывается то качество фигуры Трубачева-ученого, которое мы называем этимологической интуицией.

Когда связь идей ‘следовать, идти следом’ и ‘другой’ уже установлена, случаи нахождения корней *\*sled-* и *\*drug-* в позициях семантического уравнивания (“нейтрализации”) воспринимаются чуть ли не как неизбежность. Таковы, например, отношения между общераспространенным русск. *послед* ‘плацента, детское место’ – и диалектным эвфемистическим *друго* ‘детское место; послед’ (СРНГ 8, 209, с цитатой из холмогорского словаря А. Грандилевского: “Деревенские повитухи всегда уводят роженицу в баню и там обтирают ее *другым*, т.е. *последом*, для предохранения от родильных заболеваний”). Эти важные значение и пример в ЭССЯ, к сожалению, не востребованы. В пермских

говорах отмечена передача значения ‘послед’ субстантивированным порядковым числительным *второе* (Акчимский словарь 1, 157) – еще одна существенная семантическая параллель. Со славянским материалом перекликается и балтийский: лтш. *otrā puse* ‘послед, плацента’, непосредственно ‘вторая половина’.

Объяснение такому именованию плаценты находится в распространенных очень широко поверьях о том, что разные «части и органы тела, будучи физически отделены от человека, пребывают с ним в симпатической связи. К таковым, например, относят пуповину и плаценту (детское место). Связь эта считается столь тесной, что часто судьба человека на протяжении всей жизни связывается с их судьбой. Жизнь ребенка сложится благоприятно, если пуповина и плацента находятся в сохранности»; у некоторых народов существует вера, что “каждый человек рождается на свет с двойником, и этого двойника они отождествляют с последом”<sup>21</sup>.

Весомым подтверждением правильности реконструированной мотивировки славянского прилагательного *\*drugъ(jь)* могут быть семантические параллели за пределами индоевропейской семьи. Например, в алтайских языках – передаваемость значений ‘следовать; следующий’, ‘второй’, ‘двойник’ и, кстати, ‘плацента’(!) словами единого происхождения. Г.И. Рамstedt, объясняя монг. *qojar* ‘два’ из ‘следующий, второй’ (ср. *qojina* ‘позади’), сравнивает его с тюрк. *eki* ‘два’, которое «представляет собой имя на -i от некоей глагольной основы *\*ek-* < *\*hek-* < *\*pek-* „следовать“...; с этой же основой должно было быть связано и монг. *ikis* “послед”»<sup>22</sup>. Эта точка зрения находит сочувственное понимание и у других алтайстов<sup>23</sup>.

[Справедливости ради нужно отметить, что возможно не только направление смыслового развития от ‘следовать’ к ‘второй, другой’, но и противоположное – от ‘второй’ (порядковое значение, выводимое из количественного ‘два’) к ‘следование, сопровождение’ (кажется, именно так надо понимать семантическую филиацию у др.-инд. *dvitīya*: ‘второй’, ‘во-вторых’ – ‘товарищ, друг’, ‘спутник’, ‘соперник’, ‘неприятель, враг’, ‘сопровождаемый (кем-либо)’, ‘снабженный (чем-либо)’].

7. Еще один пример, где фигурирует итальянская (латинская) лексика.

В отзыве о монографии нижегородского археолога В.А. Сафонова<sup>24</sup>, возражая автору, который пытался обнаружить в архео-

логической культуре Винча, относящейся к середине V – середине IV тысячелетия до нашей эры, не только общественные дома, но и храмовые постройки, О.Н. Трубачев отмечал, что термина со значением ‘храм, постройка для отправления культа’ в индоевропейском еще нет<sup>25</sup>.

Приведем давнее обосновывающее мнение Отто Шрадера (1911): “Жрецов… т.е. людей, профессионально отправлявших функции общения с божеством, тогда [в “доисторическую” индоевропейскую эпоху. – А.Ж.] еще не было”<sup>26</sup>. Об оформленной группе жрецов говорится лишь применительно к отдельным архаичным социальным системам – древнегехеттской, древнеиндийской, древнеиранской, отраженной в мифологии ранне-древнегреческой и другим, с выразительным разнообразием терминов для ‘жрецов’ (хетт. *šankunni-*; др.-инд. *brahmán-*, обычно сопоставляемое с лат. *flamen*; авест. *aθravan-*, *zaotar-*; греч. ἱερεῖς; лат. *pontifex*; кельт. *drúi...*), то есть, к тому времени, когда распад праиндоевропейского целого (относительного целого, подчеркнул бы Трубачев) уже окончательно состоялся (см.: Гамкрелидзе – Иванов ИЕ, 787–788). Формирование социальных групп свободных людей – жрецов, воинов, земледельцев – Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов предположительно относят к “довольно поздней стадии социального развития”, “к периоду распада индоевропейской общности”, в связи с чем допускают объяснение отсутствия (следует понимать: ненаходимости) общего родового термина для ‘жрецов’ его табуированием и заменой описательными наименованиями в исторически свидетельствуемых отдельных индоевропейских традициях (см. там же, 789). Более вероятным кажется отсутствие общего термина вообще.

“Не было, – продолжает О. Шрадер, – и сооруженных руками людей храмов”<sup>27</sup>.

Для эпохи более чем шеститысячелетней давности (культура Винчи и др.) скорее нужно было говорить о ритуально размеченном пространстве как весьма далеком предвосхищении будущих храмов-построек. Довольно определенно звучит начало статьи “Templum” в Reallexikon’е Фридриха Любкера, имеющее в виду гораздо более поздние, предантичные и раннеантичные времена: “Храм, называется всякое отрезанное, т. е. отделенное и очерченное место (одного корня с τέμνω [‘резать; приготавливать’], τέμενος [‘священная, храмовая земля’])… отделенное от остальной непосвященной [богу] земли…”<sup>28</sup>.

В подтверждение идеи об отсутствии в индоевропейской древности храмов-сооружений (зданий) О.Н. Трубачев приводит лингвистический аргумент – соображение о том, что лат. *templum* ‘храм’ этимологически близко к литов. *tinklas* ‘сеть’ (собственно ‘натянутое’)<sup>29</sup> (ранее О.Н. Трубачев, ссылаясь на М. Майrhoфера (см.: Mayrhofer I, 476), литов. *tinklas* считал входящим в исключительную балтийско-индо-иранскую изоглоссу (др.-инд. *tántram* ‘ткацкий станок; основа ткани’)<sup>30</sup>. Приведенное итальянско-балтийское (латинско-литовское) сближение Трубачев аттестовал как “предлагаемое нами” (то есть самим О.Н.), однако из соображений пунктуальности заметим, что он говорит об отождествлении словообразовательных конструкций в духе поиска доказательных цельнолексемных совпадений, тогда как соответствие по корню, естественно, было известно до этого: латинское слово, по Ю. Покорному, продолжает основу *\*temp-* ‘тянуть, растягивать, натягивать’, которая является “*Erweiterung von \*ten- ds*”, куда отнесена литовская лексема, а также ст.-prus. *sasin-tinclo* ‘ловушка на зайца, силки’ и лтш. *tineklis* ‘нечто свитое, намотанное’ (см.: Pokorný I, 1064–1066).

Мысль О.Н. Трубачева, высказанную чересчур бегло (что, впрочем, оправдывается жанром работы, в которой она прозвучала), следовало бы, кажется, усилить как ссылками на сохранение в более поздних традициях следов ритуальной разметки пространства, выбираемого для святилища, с особой ролью геометрических процедур в космизации природного хаоса, так и нахождением других лингвистических свидетельств. Первое, например, нетрудно увидеть в свойственных буддийской культуре приемах сакрализации пространства при учреждении святилищ: «...чувство причастности к космогонии сопровождает строительство мандалы в тантризме. Само слово означает “круг”, у народов Тибета оно значит Центр или “то, что окружает”. Мандала – это ряд окружностей, концентрических либо нет, умещенных в квадрате. Вся фигура вычерчивается на земле с помощью цветной нити или цветного порошка, а внутри нее располагаются изображения различных тантристских божеств. Мандала – одновременно *imago mundi* и символический пантеон»<sup>31</sup>. Во-вторых же, в языковом, семантико-типологическом плане, ср. старое сопоставление лат. *struō* и т.д. (родственного слав. *\*strojiti*) и слав. *\*struna* ‘струна; натянутая нить, тетива’ (см.: Фасмер III, 784), связи которых напоминают семантические отношения между латинским (‘храм’) и литовским (‘сеть’) словами.

Дальнейшие ассоциации (с достаточной детальностью развиваемые, например, Мирчей Элиаде: Храм как модель Мира – Мир, Космос как “Сеть” и т.д.<sup>32</sup>) здесь можно и не затрагивать.

8. Глаголы, служащие в ЭССЯ основой для реконструкции заголовочной формы статьи *\*badati (se)* (ЭССЯ 1, 122–123), с корреспондирующими между собой формальной и семантической сторон разбиваются на две группы: ‘бодать’, ‘колоть’ главным образом с *-o-* в современном корне – и ‘испытывать, исследовать’ с корневым гласным *-a-* (в чешском, словацком, нижнелужицком, польском, древнерусском, украинском). О.Н. Трубачев отклоняет особую этимологию для второй группы, которая усматривает возникновение глагола из ложной декомпозиции *\*o-badati < \*ob-adati* (ср. ст.-чеш. *jadati* ‘испытывать, исследовать’ – к и.-е. *\*ōd-* / *\*od-* ‘запах’, ‘нюхать’ с отражениями в греческом, латинском, албанском, армянском, балтийских). Ряд, по Трубачеву, един, применительно к праславянскому состоянию предпочтительно здесь восстанавливать корневой вокализм *-a-*, обычный для дуративно-итеративных форм на *-ati*, а варианты с *-o-* объясняются поздним обобщением парадигмы с ориентацией на формы *\*bosti*, *\*bodq.*

Что же касается семантики, то значения ‘наблюдать, исследовать, испытывать, изучать; допытываться, доискиваться’, а также ‘старатьсяся, силиться’ (болгарский, украинский) несложно объяснить как конечные в цепи значений ‘колоть’ → ‘бодать, тыкать(ся)’ → ‘толкаться, ковыряться’ (болгарский, также ‘медленно работать – обычно о шитье, вышивании’) → ... [Любопытно семантическое ответвление в неучтенном ЭССЯ кашубском *bådac*: ‘bość’ (*Bik bådå*) →figуральное ‘czytać’ (*Bådå jak ksqż*) (Sychta I, 14. См. также: SEK I, 96–97)]. Внешних семантических параллелей, которые могли бы послужить подтверждением постулируемому этимологическому единству ряда, О.Н. Трубачев не дает, но его выкладки можно укрепить отсылкой к смысловым аналогиям, имеющимся, например, в германских языках: нем. *stechen* ‘колоть, тыкать’ – ‘испытывать, пробовать’ (*den Wein stechen* ‘дегустировать, брать вино на пробу’); англ. *stab* ‘удар острым орудием’ – ‘попытка’.

Продолжать заметки такого рода можно и далее, однако мы ограничимся этими скромными *addenda*. Чтение работ Олега Николаевича Трубачева вовсе не закончено. Наоборот: многое в них еще предстоит заново увидеть и осмыслить. Увидеть и осмыслить

впервые, несмотря, казалось бы, на то, что труды Трубачева давно стали научной классикой.

В 2004 г. выпущены в свет два объемных (суммарно почти полторы тысячи большеформатных страниц) тома “Трудов по этимологии”, куда включены основные опусы О.Н. Трубачева (общим числом 114; всего у него около шестисот оригинальных работ). Можно посетовать, что в это посмертное собрание вошло всего лишь несколько рецензий, а между тем в десятках сочинений этого жанра автором предложено немало глубоких наблюдений и серьезных идей. Переиздаются тексты его ранних монографий – о славянских терминах родства, о названиях домашних животных, о ремесленной терминологии, труды о гидронимах Верхнего Поднепровья (в соавторстве с В.Н. Топоровым) и Правобережной Украины. Все это дает возможность в более полной мере оценить творческую личность ученого, реализовавшуюся благодаря непрестанному труду и выдающемуся таланту, одной из составляющих которого была необыкновенная исследовательская интуиция<sup>33</sup>.

## Примечания

<sup>1</sup> Часть нижеследующих примеров использована в нашей книге «Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева „Поэтические воззрения славян на природу“» (М., 2005).

<sup>2</sup> Куркина Л.В. Славянские этимологии. IV (словен. *škr̄t*, с.-хорв. *pr̄titi*, слав. \**strukъ* / \**strøkъ*) // Этимология. 1975. М., 1977, 18.

<sup>3</sup> Жучкович В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974, 403.

<sup>4</sup> Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000, 240.

<sup>5</sup> Там же, 212.

<sup>6</sup> Трубачев О.Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, 153–154; ЭССЯ 4, 165–166; 13, 58.

<sup>7</sup> Вельмезова Е.В. Чешские заговоры. Исследования и тексты. М., 2004, 151

<sup>8</sup> Трубачев О.Н. Этимологические исследования и лексическая семантика, 153.

<sup>9</sup> Следует, однако, предусмотрительно оставить возможность, хотя бы и очень малую, для иных объяснений. Записанное в 1938 г., трубачевское слово *рытник*, по-видимому, самими информантами объяснено собирателю как “первоначально собственное имя разбойника, орудовавшего в окрестных лесах”. Диалектная семантика глагола *рыть(ся)*, легшего, если довериться легенде, в основу прозвища, довольно широка (регистрируется, главным образом, в северно-русских диалектах, более двадцати значений) и позволяет делать разные предположения о мотивированности антропонима, которые так и останутся недоказуемыми; из регистраций, территориально близких брянской – трубачев-

- ской, можно было бы привлечь, например, орл. (и костром.) *рыть ‘тревожить, беспокоить’* (‘бередить, затрагивать что-л. тревожащее, беспокоящее’) или *“осудительное” смол. рыться, зарыться ‘зазнаться, зазнаваться’* (*Ты роешься*, по записям В.Н. Добровольского; СРНГ 35, 321; 11, 14).
- <sup>10</sup> См.: ЭССЯ 6, 26–27; 14, 214, 216; 1, 194; *Machek V. Česká a slovenská jména rostlin*. Praha, 1954, 222.
- <sup>11</sup> См.: Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980–1982. 2, 254.
- <sup>12</sup> Георгиева И. Българска народна митология. София, 1983, 37.
- <sup>13</sup> Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1983, 616.
- <sup>14</sup> В другом списке памятника – *трёбы*.
- <sup>15</sup> Трубачев О.Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1970. М., 1972, 9; ЭССЯ 7, 139.
- <sup>16</sup> Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. II, 12; Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897, § 1863; Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. I. Всенародный месяцеслов. СПб., 1901, 74; Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991, 57, 60, 88, 402; Валенцова М.М. Астрономия. Метеорология. Время: Материалы к словарю полесской этнокультурной лексики (Опыт компьютерной обработки восточнославянской диалектной лексики) // Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001, 363; Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002, 122; Толстая С.М. Полесский народный календарь. М., 2005, 70, 71. Этимологическое толкование (к *\*gromъ*, редкому ст.-польск. *gromny*) – в: Sławski 1, 349–350.
- <sup>17</sup> См. в новейших записях: Ястремська Т. Акціональний і номінативний аспекти пастушого обряду на Гуцульщині // Діалектологічні студії. 2. Мова і культура. Львів, 2003, 69.
- <sup>18</sup> Журавлев А.Ф. Из русской обрядовой лексики: “живой огонь” // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1976. М., 1978; Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994, 125–139; Шимански Т. Из праславянская митологическая терминология в българский език: жив огън // Български език. 1983. № 5.
- <sup>19</sup> Салманович М.Я. Румыны // Календарные обычай и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX–начало XX в. Весенние праздники. М., 1977, 309.
- <sup>20</sup> В ее поддержку и возражая О.Н. Трубачеву пространно высказывался А.П. Непокупный (см.: Общая лексика германских и балто-славянских языков. Киев, 1989, 43–81).
- <sup>21</sup> Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь..., 44, 45 (разрядка наша. – А.Ж.).
- <sup>22</sup> Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, 65.
- <sup>23</sup> Севорян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974, 253; Старостин С.А. Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991, 33.
- <sup>24</sup> Сафонов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989.
- <sup>25</sup> Трубачев О.Н. // Сафонов В.А. Указ. соч. (приложение), 396.
- <sup>26</sup> Шрадер О. Индоевропейцы. СПб., 1913, 188.
- <sup>27</sup> Шрадер О. Индоевропейцы, 189.

- <sup>28</sup> Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. З. М., 2001, 365 (разрядка наша. – А.Ж.). Этимологическая справка о связи лат. *templum* и греч. τέμνω (ср.: Walde<sup>2</sup> 769–770) устарела (см. статью 1. \**tem-* ‘schneiden’ и \**temp-* ‘dehnen, ziehen, spannen’ в словаре Ю. Покорного).
- <sup>29</sup> См. рецензию в упомянутой книге В.А. Сафонова, с. 396.
- <sup>30</sup> Трубачев О.Н. Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других древнейших диалектах // Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963, 33.
- <sup>31</sup> Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999, 341 (разрядка наша. – А.Ж.).
- <sup>32</sup> Подробно см. в гл. III “Бог-вязатель и символика узлов” собрания эссе М. Элиаде о магико-религиозной символике “Образы и символы” (Элиаде М. Избранные сочинения. Миф о вечном возвращении. Образы и символы. Священное и мирское. М., 2000, 186–208, особенно 201–202).
- <sup>33</sup> Однако в связи с упомянутыми републикациями выскажем еще одно сожаление. Если изданные монографии были сопровождены лексическими указателями, которые сильно облегчают пользование этими трудами и имеют высокую эвристическую ценность, то посмертные тома статей такими индексами не снабжены. Сделать это, нам кажется, было необходимо (в качестве позитивного, достойного подражания и вполне современного по духу примера можно сослаться на два огромных посмертных тома статей Франце Безлая: *F. Bezljaj. Zbrani jezikoslovni spisi I-II*. Ljubljana, 2003, – с тщательным сопроводительным аппаратом, в котором только лексические указатели занимают 217 страниц большого формата). Наверное, стоило бы подумать над тем, чтобы отдельным изданием (брошюрой?) вышел Index verborum ко всем лингвистическим работам О.Н. Трубачева, а если получится, то и Index sensorum, хотя его подготовить, конечно, несравненно труднее.